

ЛОКАРМЕН

РАСКРЫТЬ

Лазарь Кармен

Портовые воробьи

В Одессе нет улицы Лазаря Кармена, популярного когда-то писателя, любимца одесских улиц, любимца местных «портосов»: портовых рабочих, бродяг, забияк. «Кармена прекрасно знала одесская улица», – пишет в воспоминаниях об «Одесских новостях» В. Львов-Рогачевский, – «некоторые номера газет с его фельетонами об одесских каменоломнях, о жизни портовых рабочих, о бывших людях, опустившихся на дно, читались нарасхват... Его все знали в Одессе, знали и любили». И... забыли?..

Он остался героем чужих мемуаров (своих написать не успел), остался частью своего времени, ставшего историческим прошлым, и там, в прошлом времени, остались его рассказы и их персонажи. Творчество Кармена персонажами переполнено. Он преисполнен такой любви к человекам, грубым и смешным, измороженным и мечтательно изнеженным, что старается перезнакомить читателей со всем остальным человечеством.

Лазарь Кармен

Портовые воробьи

*Наклевались воробушки,
Полетели отдыхать...
Некрасов*

Таньку Босую и Клячу знал весь порт.

Особенно хорошо знали их пароходные кочегары, механики и портовые стражники.

Танька Босая – чахоточная женщина с толстыми, отекающими и вечно необутыми ногами, и другая – полуслепая добродушная старушка, были неразлучны. Обе с утра до вечера чуть не ползком, согнувшись в дугу и не разгибая все время спины, обходили наподобие кур весь порт, подбирая и выкапывая, как какую-нибудь жемчужину, всякое зернышко, всякую крупицу просыпанного с телег угля, всякий кусочек канифоли, хлопка, щепочки и все это опасливо пряча от зорких ястребиных глаз «морских акул» (стражников) в мешочек или в передничек.

Наклюют-наклюют они всякого добра по зернышку, по крупиночке и поплетутся в тень под эстакаду.

Тут они подберут наклеванное зернышко к зернышку, ячмень к ячменю, просо к просу,

уголек к угольку, хлопок к хлопку, сплавят это потом задешево знакомой еврейке-лавочнице, купят себе хлеба, а в иной день – это в удачный – и сальничек, и желудочек с кашей или рыбку, покушают и плетутся, молчаливые и разбитые, в ночлежку.

Так они жили, или, вернее, «путались», как говаривали сами.

Сошлись они обе в ночлежке.

Лежит как-то осенью на своем матраце в углу Кляча.

Вдруг входит в палату женщина. Глаза у нее бегают. Косынка сбилась на затылок.

Вошла, стала посреди палаты и оглядывается. Все ей, видно, ново и пугает ее.

– Эй, женщина, ступай сюда, матрац возле меня свободный! – подзывает ее Кляча.

Та подходит.

– Ложись!

А та как посмотрит на нее, посмотрит кругом, да как задрожит, заплачет: – Несчастливая, одинокая я, боже мой, боже!

– Что ты, мать моя? – спрашивает Кляча.

– Мужа закопала нынче!

– Законный был?

– Законный.

– Он где работал?

– В каменоломнях. Камни резал. Резал, резал, пока потолок треснул и сел. Вытащили мужа и еще троих поломанными. Все вылечились, а он помер. Три месяца в больнице мучился.

– Господи, твоя воля, – покачала головой Кляча, – а ты-то как сама, матушка?

– Я – хвораю. Ноги у меня пухлые. Работала я на кирпичном заводе. Весь день на третий этаж кирпичи тащу в сушильню. Ноги от этого вспухли и испортились. Два раза после взберешься наверх – и шабаш. Ноги подломятся, и падаешь.

– А ты лечилась?

– Лечилась. Бросила работу и лечилась. Муж добрый, трезвый был. «Посиди, – говорит он, – Танюша, дома да отдохни, полечись...» Сегодня, как закопала его, прихожу домой. А хозяин все описал и гонит. Ступай, мол, с богом! Все описал он: стол, самовар, перинку, сундук такой большой, зеленый и два платица – одно голубое, а другое – красное, с цветочками, что к пасхе и троице сама сшила. Я

и пошла. Иду, сама не знаю куда, и плачу. По дороге меня останавливает барыня и сует гривенник. Стало темно. Где спать? Подхожу к городовому, все чисто ему рассказываю, он и велел мне идти в приют.

– Что ж, зашла, так ложись! – вздохнула Кляча.

– А мне страшно, бабушка. Никогда я по приютам не ночевала. У меня свой дом был. Хозяйкой была. Ох, боже!...

Страшно, очень страшно было ей о ту пору.

В палате – грязь, вонь. На полу и на матрацах – пьяные полуодетые женщины. Волосы у них распущены. Лица вспухшие и разбитые. Голоса сильные. Лежат они, пыхтят трубками и окурками и переругиваются так, что оторопь берет.

– И что ты вздумала – страшно! – успокаивала ее Кляча. – Ничего тут страшного нет. Здесь все – люди. Ложись! Полежишь, приглядишься и привыкнешь.

Танька легла.

– Так, – вздохнула опять Кляча, – ты теперь, значит, одинокая. Бе-е-да! У меня тоже

был муж законный. Венчались мы с ним в церкви. Шаферы, певчие были. Как след быть, по закону. Работал он на фабрике. Только недолго, аккуратно как твой. Скоро помер. Я и осталась одна. Стала я ходить на биржу. Тут потолочек выбелю, там полы обмою, постирушкой займусь, а потом пошла в гавань. Здесь стрелять стала. А ты, матушка, знаешь, как стреляют? Стреляют разно. Ползет воз, примерно, с углем. Кто сзади подскочит и кусок – цап. А я так жду. Вижу, упал с воза кусочек на землю, и подхвачу его. Бог, значит, послал, мой, значит. Каждой птичке, каждому воробью он посылает свое. Я ведь что воробей. Нас, всех женщин, в гавани воробьями называют. Летим, летим мы, только выше земли не поднимаемся и что высмотрим, то подключаем... А ты нынче, как тебя, Танька, ела?

– Н-нет.

– Ешь. – Кляча сунула ей ломоть хлеба.

Танька стала есть и успокоилась.

– Страшно еще? – спросила Кляча.

– Немножко. А кто они? – И она робко указала на окружающих.

– Женщины.

– Что же они такие некрасивые, страшные?

– Оттого, что жизнь их некрасивая, страшная да босяцкая. Горя у них – что реченька. Ты думаешь, они родились такими страшными? Тут есть одна Манька Поручица. Не какая-нибудь, а дворянка, столбовка. Веришь, отец у нее поручик. Спроси всех, скажут. Как начнет она рассказывать, сколько у них дома всякого народу бывало. Страсть! Сам исправник бывал, всю ночь на фортепьянах играли, пели и с молодыми офицерами танцевали.

– Боже!

– Ты думала что? Есть тут еще одна гильдейка – купчиха. Муж орехами и изюмом торговал. Есть и приказчица, портниха. Мало кто тут есть. Много о них рассказывать. Жили себе люди в свое удовольствие. Ешь, пей, сколько душевьеке угодно, и никаких. А подошла такая пора, они спились и босячками поделались.

– Что же они теперь, бедные, делают?

– Кто к чему имеет охоту и сноровку. Кто поноску барыням за три копейки с базара та-

щит, кто на постройках землю носит, а кто на шармака живет... Ну, это пока они не совсем стары. А когда совсем постареют и зубы у них выпадут – околевать будут. Ты водку пьешь, куришь, Танька?

– Боже меня сохрани. Ни капли во рту никогда не было, и табаку не нюхала.

– Это ничего, научишься. Мы тебя научим. Будешь пить, легче на душе будет... Ну, ладно, спи! Завтра вставать рано. Ох, грехи наши!...

Кляча поерзала на своем матраце и уснула. Уснула и Танька.

Кляча разбудила ее рано.

Несмотря на рань – три часа ночи, – в палате почти никого уже не было. Только две-три женщины позевывали и потягивались на своих матрацах.

– Хочешь, – спросила Таньку Кляча, – со мной в гавань идти? Что-нибудь да заработаем.

Таньке ничего не оставалось, как согласиться.

Впрочем, она согласилась охотно. Кляча первая обласкала ее, первая утешила, накор-

мила и посвятила ее в незнакомую жизнь, и Танька почувствовала к ней дочернюю привязанность.

Она даже в уме решила никогда не оставлять полуслепой старушки, одинаково с нею несчастной и одинокой.

И они пошли.

Дорогой Кляча знакомила Таньку с портом и наставляла ее:

– Нас, Танька, женщин, что стреляют в порту, много. Шестьдесят штук наберется. Ссор поэтому и разладу среди нас много. Вижу, например, с телеги упал кусок угля. Я – к нему. Нагнулась, а тут, как воробьи, налетят на тебя душ пятнадцать женщин, опрокинут и все рвут кусок. Оно, положим, везде и всегда так. Жрать всем хочется. Ну, да бог с нами! Теперь, Танька, – правило. Помни: чуть морская акула, стражник, значит, увидит тебя, ты немедля хоронись за вагон, а не то – в клепки или черепицу. Лезь к черту за пазуху, куда хочешь, не то беги что есть духу. Морская акула – человек казенный. Он не любит, когда люди шатаются зря, без дела и только норовят что-нибудь стрельнуть, склюнуть.

Правило второе: что соберешь, клади в мешок и мешок держи крепко. А то кадыки непременно у тебя его выхватят. Что соберем, продадим, а выручку пополам.

Танька слушала, утвердительно кивала головой и шла следом за торопливой старушкой.

– Забирай влево, лево на борт! На Платоновский мол! – скомандовала Кляча, когда они очутились в гавани. – Там со вчерашнего вечера должен стоять батумский пароход. Он приходит по четвергам через каждые две недели. Уж я расписание знаю. А для чего он нам, знаешь?

– Не знаю.

– То-то! На том пароходе – кочегар. Мы попросим его, и он разрядит топки и даст нам перегар. Перегоревший уголь, значит.

И старуха, несмотря на свои шестьдесят лет с чем-то и кривой бок, делавший ее похожей во время нагибания на клячу, быстро заковыляла меж тюков, ярусов шпал и клепок, ежесекундно нагибаясь и подбирая каждый уголек, зернышко и кусочек хлопка.

– Танька, не плошай, – каждый раз повто-

ряла Кляча.

И Танька не плошала. Она нагибалась к земле без конца и отдыха.

– Все подбирай! – командовала Кляча.

– Ай! – вдруг вырвалось у Таньки.

Танька, ковыляя в согнутом положении, больно ударилась головой о вагон.

– Что? – спросила Кляча.

– О вагон стукнулась! – протянула Танька и схватилась за голову. На голове у нее показалась кровь.

– Бывает! – равнодушно заметила старушка. – Я не раз нарывалась на вагон и на клепки. Надо глядеть в оба. А то прошлым летом Манька Наездница так стукнулась, что пять дней в больнице лежала...

Первый дебют Таньки был удачный. Усталая, она гнулась под мешком, набитым всякой всячиной. Гнулась также под своим мешком и Кляча.

В три часа Кляча решительно заявила:

– Шабаш, на сегодня довольно! – и обе потащились к эстакаде.

Дотащившись, Танька уронила мешок и брякнулась оземь. Она обессилела.

– Больно? – спросила старушка.

– Ох, больно, бабушка. Страсть как поясницу и шею ломит. Будто молотили на них.

– С непривычки это, Танька. Ты вот десятичек лет, как я, поработай, гни шею и поясницу – привыкнешь. Ну, давай разбираться, выворачивай добро, камни самоцветные, серебро, золото, жи-и-во!

Танька отстегнула передник, развязала оба мешка и опростала их. Получилась куча. Танька поглядела на нее, выпучила глаза и развела руками.

– Чего глаза выпучила? – осерчала Кляча.

– Бабушка, да что мы с этой кучей-то делать будем? Как разберемся?

– Разберемся. Нам не впервые. Делай только, что я делаю. – И старуха разбила кучу на две части.

Одну часть она подвинула к себе, а другую к Таньке.

И началась вторичная работа, тяжелее первой.

Это была работа сказочной Золушки. Работа грязная, неблагодарная и в высшей степени утомительная.

Шли часы. В порту давно зашабашили угольщики, полежалыщики и сносчики. Перестала скрипеть эстакада и греметь паровые краны. И кое где уже вспыхивали огоньки.

А они все сидели, не разгибая спины и перебирая пальцами.

В стороне от них в нескольких кучках лежали выбранными: уголь, полгарнца проса, четверть фунта канифоли, немного железа и щепок.

Они теперь спешно очищали хлопок. Хлопок они подобрали в агентстве и в сорном ящике.

Кляча чистила ловко. Танька же дергала, чистила и под конец бросила. Сору в хлопке было больше, чем самого хлопку.

– Что? – нахмурилась Кляча.

– Фу-у, уморилась!

– Ты вот как я, барыня, лет десять поработай, уморишься больше. Хлопок чистить, матушка, не то, что репу. Ослепнуть можно.

– А много выйдет из него чистого-то?

– Из хлопка-то? Фунта полтора выйдет. По две копейки за фунт считай...

Поздно вечером работа была окончена,

«товар» продан, и они отправились в ночлежку.

Прошло пять лет.

Танька не расставалась с Клячей, привязалась к ней, освоилась с портом и вполне специализировалась в своей неблагодарной работе.

Она работала теперь одна, без Клячи.

Кляче перевалило за семьдесят. Она ослепла и весь день лежала под эстакадой.

Лежит, бывало, Кляча в тени на мешках и на рогоже. С одной стороны защищает ее от резкого берегового ветра и пыли громадный сорный ящик, а с другой – вагоны. Лежит, чуть дышит и не шевельнется, как мертвая.

К вечеру придет Танька, разберется в своем мешке, добудет хлеба и водки, даст Кляче закусить и выпить и поведет ее в ночлежку. А там уложит ее, как дитя малое, на матрац и укроет теплым.

Танька большей частью оперировала на «пункте», где чаще стоят иностранные суда, и на угольной гавани.

Она завязала прочное знакомство со всеми кочегарами, которых знала по имени и отче-

ству, и «Джонами» (англичанами), с которыми научилась объясняться по-английски.

Пришел английский пароход, и она тут как тут.

– Mister! – стучится она в иллюминатор к кочегару-негру.

Кочегар открывает иллюминатор.

– What do you want? Что тебе надо?

– Some coal please! Немного угля, пожалуйста! – подмигивает ему Танька глазом и улыбается.

Негру это нравится.

– How much? Сколько? – спрашивает он, тоже подмигивая ей и скаля зубы.

– Побольше!

– All right! – И иллюминатор захлопывается.

Проходят десять минут, и добрый негр выносит ей корзину с перегоревшим углем.

Сунется Танька потом к угольщикам и к полежалыщикам.

Одни незаметно от приказчика наложат ей в мешок чистого кардифа без примеси, а другие – пшена или кукурузы.

Сунется она и на пароход Добровольного

флота. И если на пароходе ремонт, то ей перепадут стружки, щепки, а когда и бревнышко.

За пять лет Танька сильно изменилась. Она больше осунулась. Ноги у нее опухли сильнее, и она вся скрючилась так, что, глядя на нее, казалось, катится по порту колесо скрипучее и расшатанное.

Раз с Танькой случилось несчастье.

Был вечер, и, как всегда, она катилась, нагруженная мешком, к эстакаде.

Вдруг она слышит позади свист. Оборачивается и видит стражника. Стоит он и грозит пальцем. Очень уж она боялась этого стражника, самый злой был.

Танька, как увидела его, затряслась, побелела и что есть мочи – шась в сторону.

Бежит она, а в ушах у нее свист и благовест, и кажется ей, что вот-вот стражник ее настигнет. А стражник и не думает за нею бежать; только стоит, покручивает усы да смотрит ястребом.

Вдруг ноги ее о что-то споткнулись, и, не добежав до эстакады, она полетела и хлопнулась с размаха о рельс грудью.

В глазах у несчастной помутилось. В голо-

ве все спуталось, перемешалось, а в груди что-то хрустнуло и защемило.

Танька упала в обморок.

Целый час она пролежала на рельсах, пока ее не привел в чувство проходивший механик.

Стала с этого дня Танька харкать кровью и работать слабее. Час-два поработает, ходит колесом по набережной и устанет. Ноги у нее подкосятся, по телу побегут мурашки и кровь хлынет горлом.

Наступили тяжелые дни для нее и для Клячи.

Танька как-то два дня не работала, и два дня они с Клячей не ели. А помочь им было некому.

И вот лежат они обе под эстакадой. Вокруг кипит жизнь. Гудит пристань. А их никто не замечает. Точно собаки лежат.

– Танька! – прохрипела Кляча.

– Что, бабушка?

– Умирать собираюсь.

– Нет, нет, – запротестовала Танька, – подожди. Она сделала невероятное усилие, встала и, шатаясь, как пьяная, заковыляла к площа-

ди.

Все лавочки обошла Танька, предлагая за несколько копеек свою верхнюю юбку и кофточку.

Но все отказывались. Больно уж стары были юбка и кофточка. Кто-то, однако, сжалился и дал ей гривенник.

Танька тут же купила хлеба и поплелась назад к Кляче.

Странно было видеть среди бела дня женщину почти в одном белье, с рассыпанными по плечам волосами и с блуждающим взглядом.

Таньку провожали глазами. Многие смеялись.

– Ишь напилась! Легче, за фонарь держись! – острил и смеялся один угольщик.

– Отдай якорь, якорь отдай! – острил другой.

А Танька подвигалась, ничего не слушая и никого не замечая.

Вот эстакада и Кляча. Старуха вытянулась и лежит спокойно. Лицо у нее строгое. Глаза закрыты.

Над нею гнется и трещит эстакада под тя-

жестью проходящего поезда.

– Бабушка, хлеба хочешь? – нагнулась к ней Танька.

Ответа не последовало.

– Бабушка! – повторила Танька.

Но бабушка не откликнулась. Она была мертва.

Танька с воплем припала к ней, и под эстакадой раздалось ее глухое рыдание.